ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ



ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА

Глазами эксцентрика

Венедикт Васильевич Ерофеев

Аннотация
ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. ГЛАЗАМИ. ЭКСЦЕНТРИКА
ПИСЬМО НА РОДИНУ
ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА
Петр Вайль, Александр Генис. Страсти по Ерофееву

Аннотация

Предисловие и послесловие П. Вайля и А. Гениса.

Сколько бы книг ни написал Венедикт Ерофеев, это всегда будет одна книга. Книга алкогольной свободы и интеллектуального изыска. Историко-литературные изобретения Венички, как выдумки Архипа Куинджи в живописи — не в разнообразии, а в углублении. Поэтому вдохновленные Ерофеевым «Страсти» — не критический опыт о шедевре «Москва-Петушки», но благодарная дань поклонников, романс признания, пафос единомыслия. Знак восхищения — не конкретной книгой, а явлением русской литературы по имени «Веничка Ерофеев».

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ



ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА

ПИСЬМО НА РОДИНУ

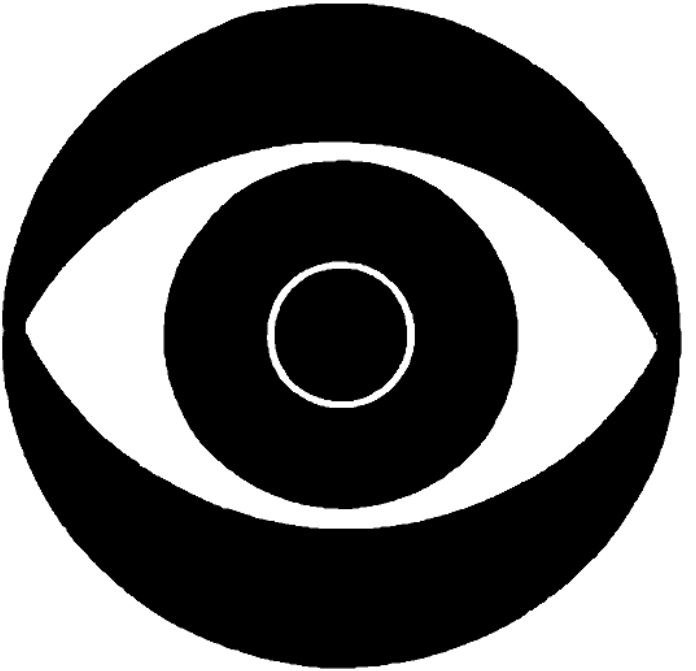
В страхе и трепете мы впервые прочли твои пламенные страницы. Это случилось с нами тысячу лет назад, в дни молодости и жажды подвигов. Пропасть разверзлась под нашими ногами, и мы радостными неофитами, торжествующими адептами ринулись в мир, открытый тобой. Россия, мать, родина — сладким и теплым питательным бульоном вскормила она наши пороки и страсти. И все они были принесены в храм созданной тобой утопии, в храм, из которого мы изгнали торговцев и фарисеев, не сдающих посуду и брезгующих «Кубанской». Но отвергнуты были наши дары и засохли смоковницы наших страстей.

И не достигнув идеалов, мы направились их создавать. Из страны, где рано закрывают магазины, мы попали в страну, где по воскресеньям их не открывают совсем. Годы — да, годы — мы потратили на покупку кухонных автоматов, освоение звука «th» и попытку кого-нибудь убедить в чем-нибудь. Мы изощрялись в силлогизмах и соритах, опускались до личного примера и мудр-

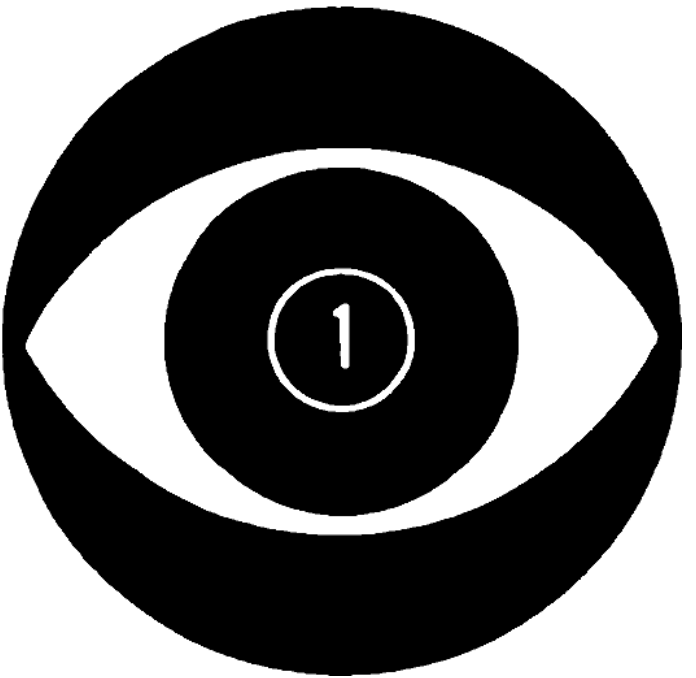
ствовали лукаво, но тлен и суета постигла все наши начинания. И мы опять припали к открытому тобой миру. К элизиуму, где можно стать собутыльником Модесту Мусоргскому и пить шампанское из розового бокала с Николаем Гоголем. К парадизу, где на твоем канапе возлежит мракобес Василий Розанов. И опять — в который раз! — мы открыли, что в бездействии истина и в нежелании мудрость. И что нет для русского человека места лучше канапе, потому что на любом другом месте от него остаются лужи крови и перебитые инородцы. И что у свободы не бывает границ ни по ту, ни по эту сторону Пиренеев, и что мир — тлен даже в стране всеобщих выборов. И вот — как ты в душевной горести припадаешь к неведомому нам Розанову, мы припадаем к твоим книгам, «зажмурившись и приседая в знак скорби».

Потому что, читая твои книги, вспоминаешь, что жизнь не погрязла в суете желаний и поступков, что будет стоять Содом из-за десяти праведников, ибо сказано: «Не истреблю ради десяти» Истинно свидетельствуем: ты один из них — пророк и провозвестник мира, наполненного охлажденной «Кубанской», благовоннолонными прелестницами и сочинениями Розанова. И несть числа твоим откровениям.

Петр ВАЙЛЬ,
Александр ГЕНИС



ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА



Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета, один пистолет я сунул себе за пазуху, второй

— тоже, третий не помню куда.

И выходя в переулок, я сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, а колыханье струи и душевредительство». Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на самого себя (не убий себя, как бы ни было скверно) — но сегодняшняя скверна и сегодняшний день вне заповеди. «Ибо лучше умереть мне, нежели жить», — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так.

Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все ближние меня оставили.

Кто в этом виноват, они или я, разберется в день суда тот, кто… и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, которые меня чуть подогревали, тоже исчезли и растворились в пустотах. И в довершение, от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!», потом плакал полчаса,

потом опять нагнал, сказал: «Благовоннолонная, останься!» — она повернулась, плюнула мне на ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода и бросался подо все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома над головой я вбил крюк для виселицы, две недели с веточкой флер-д-оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ни был ты, доставший мне эти три пистолета, — будь четырежды благословен!

Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа все распухала, слезы текли у меня и спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица». Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее, что-нибудь такое освежающее, например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано. Но это не освежает, — где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), и пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня ни одной звезды ни в одном глазу.

И Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом.

Не поднимаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из под мышек, третий не помню откуда — из всех трех разом выстрелил во все свои виски — и опрокинулся на клумбу с душой, пронзенной навылет.



«Разве это жизнь? — сказал я, поднимаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза подлая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а может, не толь-

ко пена. «Спокойно, у тебя остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии. Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню, кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: „Animalia omnia post coitum opressi sunt“, то есть „каждая тварь после соития бывает печальной“, а я вот постоянно печален, и до соития, и после».

А лучший из комсомольцев Николай Островский сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (Тьфу, не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.

Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи, — так я подумал и постучал. «Отвори мне, Павлик». Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не

подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал. «Видишь ли, я занят, — сказал он, — я смешивал яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи».

«О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике!» Я взгромоздился к нему на пуфик и умолил: «Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои капли и мочевины, волоки все!»

Он ответил: «Не дам».

«Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия! Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленоррею».

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, придурка, ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-

нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений…» (О, нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы.)

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

«А Василий Розанов сказал: „У каждого в жизни есть своя Страстная Неделя“. Вот и у тебя».

«Вот и у меня, да, Павлик, у меня теперь Страстная Неделя, и на ней семь Страстных Пятниц». Как славно! Кто такой этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном. «О чем ты думаешь?» — спросил я его; он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.



Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?

— Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет?

— Более махрового, более одиозного — тоже

нет?

— Махровее и одиознее некуда.

— Прелесть какая. Мракобес?

— «От мозга до костей», — как говорят девочки.

— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил. Царство ему небесное.

— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и всякое такое.

— В какой-то степени, да.

— Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательного толка.

— И всю жизнь и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна небезызвестность.

— Да, да, я слышал (погоди, Павлик, я сейчас иду), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Николай Катков, Константин Победоносцев «простер совиные крылья», Лев Шестов, Дмитрий Мережковский,

Фаддей Булгарин «не то беда, что ты поляк», Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин «по Невскому бежит собака», Сергий Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо.

— Славная женщина София Соломоновна Гордо, относительно «банды» я не спорю. Это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутыль с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух и непривычно и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше, ни меньше как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по значению, ни по размерам, ни по досягаемости».

— Ну, об этом я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от нашей классной наставницы Беллы Корнеевны Совнер, женщины с дивным… (погоди, Павлик, я сейчас иду). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?

— Решительно всех.

— И переплюнул?

— И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах, и я ухожу.

— Умер как следует. Обратился в истинную веру часа за два до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.



Сначала отхлебнуть цикуты и потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал читать с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина: «Книга должна быть дорогой. И

первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить. Книгу не надо „давать читать“. Книга, которую „давали читать“ — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и библиотеки — суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц уже речь шла не о развратницах-книгах, а просто о развратницах.

«Можно дозволить очищенный вид проституции „для вдовствующих замужних“, то есть для того разряда женщин, которые не способны к единобрачию, не способны к кривде вместе и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «развратными ложесами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен для сквозняка.

А потом я повалился на канапе и продолжал.

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне?» «Томится моя душа. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без

сна». У обскуранта — и вдруг томится душа? «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да.

Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Трубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения!»

Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем говорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы о чем говорить.

«Только горе открывает нам великое и святое». «Боль, всепредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, „состав не выдержит“». «Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я о собственном смысле? Никогда. Грусть — моя вечная гостья». «Смех никого не может убить, смех придавить только может». «Терпение одолеет всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа». «Христос — слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня, никогда не отходи».

(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или с прописью):

«Русское хвастовство и русская лень, собиравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преображается в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

«И пишут, и пишут историю этой буффонады. И мемуары и всякие павлиньи перья. И Некрасов с русскими женщинами».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, «страдалец», царям земли напомнить

о Христе):

«Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Баклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в двадцати томах, не наш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, да Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких разговоров с ним нельзя было водить? Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять?» (Как это может страдалец — вонять?)

И о графе Толстом:

«В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю их души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их „философия“ и публицистика». Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили».

И о Максиме Горьком, по-моему, все-таки о Максиме Горьком:

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице какую-то самолюбивую рыбку. Но больше сомневается, и насадка плохая, и крючок и т. д. Но не унывает и опять закидывает».

И об основателе Политического пустозвонства в России Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его же поклонения:

«За всю его жизнь — ни одного высокого и натурального помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он еще будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом ползущем гаде я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и бренная — тоже уснула.



И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело, не вложил в это больше сердца и натурально-

сти, чем все подданные российской империи вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он поглядывал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абаддона, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддону.

А я все лежал на канапе, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал.)

Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным воздал по подзатыльнику. («О, шельма», — сказал я, путаясь в восторгах.)

А он между тем, влепив последний подзатыль-

ник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старинных монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монету, я тихо приподнялся с канапе и шепотом спросил:

— Неужели это интересно: дуть на каждую монету?

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно или ты всю ночь путался с б….ми?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне было скверно. «Книга, которую дали читать…» и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали головы пеплом, раздирали одежды и перепоясывались вретищем. А старухам, что на меня глядели, давали нюхать…

Меня прорвало, я на память и рассказал свой вчерашний день, от пистолета до ползучего гада. И тут он пришелся мне уже совсем по вкусу, мой гость — нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие

надсады», о Меривале и Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, настоенной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в три тысячи слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против чело-

века, но не против Бога и церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и о Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг к израильтянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к израильтянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен всему этому? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старец Лаван, изверившийся во всем, клялся дочерьми, не зная, что еще можно избрать предметом. А есть ли у кого-нибудь из нас во всей России хоть одна дочь, а если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?

Любящий дочерей, мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».



И тут меня вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменилось у нас, это «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты, — все как-то поразбежались по заграницам, еще до твоей кончины. Или уже после твоей кончины, у себя дома, в России, поперемер-

ли и поперевешались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работящие. Г..на нет и не пахнет им, остались только бриллианты и изумруды. Я один только — пахну. Ну, еще несколько отщепенцев — пахнут…

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже издыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен. Всякая их идея — непреходяща, им должно расти, а нам — умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев…

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань говорить околесицу…

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут нести околесицу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное поведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере,

некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, один я только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и десяток мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни одного камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и только потому, что у меня изжога и на спине два прыща…

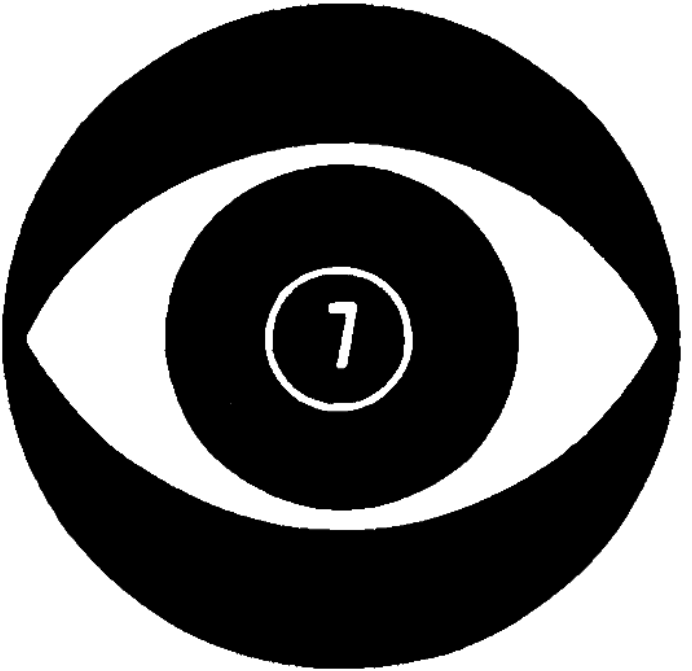
(«Хо-хо, — сказал собеседник, — отменно».)

И вот меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит, они кретины, а я — прирожденный идиот. Вернее, нет, мы разнимся как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора, как моя легкая придурь от их глубокой припизднутости (десять тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи облепили мне душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных

зверств и сказочного хамства, это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумий уйду, у меня есть опыт в этом, и у меня под рукою яд, благодарение Богу.

— Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих…

Все это проговорил я, давясь от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной минуту, а потом сказал:



— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук восемьдесят вольных грехов и штук сто восемьдесят невольных, позаботься сначала о них. Тебе ли сетовать на грехи мира и отягчать себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем

«безумии сынов человеческих есть место и для твоей (как ты сладостно выразился?) припизднутости».

«Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того: «Мы часто бываем неправдивы, чтобы не причинять друг другу излишней боли». «Он же постоянно правдив. Благо тебе, если увидишь его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель? Совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего восемьдесят таких промежутков. Все было недавно. И оставь свои выспренности, все еще только начинается».

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы. «Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина, и поверить в нежную идею. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное — что никогда не разрушится — одно благородное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман,

приподнялся с канапе, и как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано! «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне надежду». У меня все началось лет десять до того, все влитое в меня с отроческих лет плескалось внутри меня, как помои, переполнило чрево и душу, и просилось вон — оставалось прибегнуть к самому проверенному из средств: изблевать это все посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен вне всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента,

всадившего в эрцгерцога Франца Фердинанда пулю. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы не началось.

Если б он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитизируется?

Я ответил бы:

— Чувствую. Теитизируется.

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и блеянье, блеянье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемежку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерственных образцах, и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили. «Неумело» благотворить и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю Калимантанских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?» Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канапе Василий Розанов.

Да что он там сказал уходя? О вздохе, о свиньях?

«Вздох богаче царства. Богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и Вечная жизнь. Мы — святые, а они — корректные. К „Вздоху“ Бог придет. К нам придет. Но скажите, пожалуйста, неужели Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох, у них нет вздоха».

«И тогда я понял, где корыто и свиньи, а где терновый венец и гвозди и мука».



И если придется, я защищу все это, как сумею.

И если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сферах повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, что ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим каламбуром, вроде того, например,

что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, спасении их. А всякая отвага — по существу негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случалось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству, и при кажущейся незыблемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки», уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если все это мне скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь не застилала глаз.

Да, этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем, как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить всякий порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто УСПЕТЬ ДОНОСИТЬ СВОИ БАШМАКИ.

Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же можем быть искушены во всех грехах — чтобы знать им цены и суметь отвратиться от всех них. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустячной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавляет от той ГИГАНТСКОЙ ЛЖИ — (все дурни знают, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он скверно, что нос его был мясист, а маленькие глаза постоянно блуждали, и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, засранкам, отвечу так: «Ну так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства, у масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если бы встретил его где-нибудь. Ну как может пахнуть изо рта у человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора те, кто не знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), эти люди

веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова, — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе, от юности до смерти, прочно стоял монастырь, — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунштюками, если бы это, допустим, и в самом деле были только кунштюки и забавы? И почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева. Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента, на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «Достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумент заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто по зависящим от нас или нет причинам незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе неза-

чем ставить памятник, там его и без того знает каждая собака. А вот Антону Чехову в Воронеже — следовало бы — каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака.



Короче, так. Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал

мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше ни меньше: честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу, и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дому в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопа, с книгами под мышкой. В такой поздний час никто не набрасывает на себя салоп и не идет из дому к друзьям-фармацевтам с шовинистами под мышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати лет — какая разница? Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, откусить башку у брата своего, Британника. Но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди.

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — бриллианты, — начхать! Я знаю, какие они бриллианты. И каких они еще навытворяют дел, паскуднейших, чем натворили, — я это тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что опалил им гортань и душу, все равно — опали!

Вот, вот! Вот, что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия: «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус, и все тело ваше от темени головы до подошвы ног!»

(Прелестная формула!)

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дому, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам что ни день — хорошо — горе вам! (Если вам хорошо — четырежды горе!) В вашей грамотности и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях — будьте прокляты! На доле любви и в залах заседаний, на толчках и за палитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты. Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие, мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы согласны растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярила растаяла эта проблядь Снегурочка, — если согласны — я снимаю с вас все проклятия. Меньше было бы заботы о том, что станется с моей землей, если б вы согласились. Ну, да разве вас уломаешь, ублюдки?

Итак, проклятие остается в силе.

Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы пройдете, надо полагать, а мы пробудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал вот сейчас на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, — доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону гроба Господня. Чередовались знаки зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот вы благосклонны ко мне?»

«Благосклонны», — ответили созвездия.

1973

Петр Вайль, Александр Генис
Страсти по Ерофееву

Сцена представляет собой кабак… Направо прилавок и полки с бутылками. В глубине дверь, ведущая наружу. Над нею снаружи висит красный засаленный фонарик. Пол и скамьи, стоящие у стен, вплотную заняты богомольцами и прохожими. Многие за неимением места спят сидя. Глубокая ночь. При поднятии занавеса слышится гром и в дверь видна молния.

А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем. М., 1978, т. 11, стр. 183.

Сколько бы книг ни написал Венедикт Ерофеев, это всегда будет одна книга. Книга алкогольной свободы и интеллектуального изыска. Историко-литературные изобретения Венички, как выдумки Архипа Куинджи в живописи — не в разнообразии, а в углублении. Поэтому вдохновленные Ерофеевым «Страсти» — не критический опыт о шедевре «Москва-Петушки», но благодарная дань поклонников, романс признания, пафос

единомыслия. Знак восхищения — не конкретной книгой, а явлением русской литературы по имени «Веничка Ерофеев».

* * *

«Москва-Петушки» — это «Исповедь сына века», это «Герой нашего времени», это «Сентиментальное путешествие», это «Всепьянейшая литургия».

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский полив! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?

Это роман маслом для фортепьяно с оркестром, написанный на смещении критериев — и потому единственно правдивый. Его, Ерофеева, явление предвидя, писал великий русский поэт:

> *Подымем стаканы, содвинем их разум!*
>
> *Да здравствуют музы, да здравствуют разом!*[1]

---

[1] Примечания: 1

А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт. Изд. АН СССР, М., 1957, т. 2, стр. 269.

* * *

Пить всегда смешно. Смешно пьющему, смешно тем, кто смотрит на пьющего. Любой абстинент упирается в неразрывность пьяного и смешного: смешное уже не может быть опасным. Сакральный смех в истории человеческого духа представлял и представляет глубинное позитивное начало. Очищение от предыдущего «серьезного» цикла, обновление жизненных сил, возвращение к изначальному акту творения. Глобальный смех (не юмор и сатира тощего реализма) — есть сила живородящая. Карнавальный смешной мир навыворот Рабле и Гоголя — законченный образец такого смеха.

И всегда карнавальный миросозидающий смех сопровождался буйным кликом: «Hic bibitur!» — «Дерябнем!».

Когда мы смеемся над забулдыгой, переползающим дорогу, сакральный смех щекочет нам горло, и в алкаше мы гоготом приветствуем революционера, пытающегося заменить «серьезный» мир смешным.

По своей литературной сути «Москва — Петушки» — фантастический роман в его утопической разновидности. Венедикт Ерофеев создал мир, в

котором пьянство — закон, трезвость — аномалия, а Веничка — пророк его. Мир — это мир, и он не может жить с сознанием ущербной неполноты своего бытия. В отличие от Творца, Ерофеев творил не на пустом месте: мир уже был, но мир был плох, и следовало создать его заново.

Веничка Ерофеев глубоко убежден: трезвое человечество губит свою прекрасную душу на все то, из-за чего «люди столько стараются, суетятся, работают, плавают и воюют».[2] Нет, человек — частица вечного — должен жить чисто, светло и прекрасно. Так, чтобы не ошибиться в рецептах. В поисках блаженства познания промысла Божьего. И когда человек познает его, то будет в душе его радость и умиротворение, и всегда будет в мире его вымя и херес, а сам он будет сидеть и играть — то на мандолине, то в сику. И если есть ад нашего сумасшедшего земного мира, то есть и рай высшего царства, в котором человек, не отвлекаясь на погоню за бессмысленными ценностями, сидит и постигает высший смысл непостижимой икоты.

«Но есть и Божий суд»,[3] — кричит Веничка, и

---

[2] Примечания: 2

Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, М., 1956, стр. 8.

[3] Примечания: 3

М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. в 4-х тт. М., 1975, т. 1, стр. 25.

ангелы слышат его.

* * *

«Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра». А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра — тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» …Я говорю: «Ну, что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». — «Из Сибири?» — спрашивают. Говорю: «Из Сибири» …Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий логос».

Хороши бы мы были, если бы искали смысла и расшифровки того, что смысла и расшифровки не имеет. То есть полива.

Полив — байстрюк великого и могучего — один он утеха и отдохновение. Укрытие алогизма нелепицы от разбушевавшихся причинно-следственных связей. Если не он, то кто ответит божественной глоссолалией, чудным ангельским языком на тусклый и серый глас будней. Но что есть полив?

Полив есть полиассоциативное семантико-фонетическое явление, порождающее квазилогику. Полив — экстаз языка. Захлебывающаяся скороговорка смыслов и рифм, ибо «человечество

говорит в рифму чаще, чем оно думает».[4] Если бессмысленное созвучие «-бовь-ровь» по гроб связывает смерть с рождением, то почему рифма имен и понятий не может бисерной игрой прорваться сквозь тень обыденности в день потустороннего — абсурдом полива. Ведь повторяет десятое поколение школьников гениальный полив бессмертного человека — «Редкая птица долетит до середины Днепра». Брюссельско-вологодское хитросплетение абсурда, «дада» дадаистов, священное «ом мани падме хум» тибетских мудрецов — не есть ли все это сгусток сверхчувственной информации? Не есть ли это клич к Богу? И ключ к Богу?

Сидит Веничка в мансарде, мезонине, флигеле, антресоли, чердаке и сочиняет эссе по вопросам любви под французским названием «Шик и блеск иммер элегант», а абсурд корчится в поливе, и рвется из него подспудная и откровенная ясность бессмыслицы. Ясность голосящей юродивой, чей ангельский язык понятен лишь ей и Богу.

Отчего «Москва-Петушки» так похожи на «Путешествие из Петербурга в Москву»? Не оттого ведь, что путешествие, что там Хотилов — тут

---

[4] Примечания: 4
См. А. Терц. Голос из хора. Лондон, 1973, стр. 18.

Салтыковская, там Крестьцы — тут Дрезна. А вот: «И узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто оттого только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы». Откуда это? Понятно, по языку понятно, что из Ерофеева, но и дворянский революционер Александр Николаевич смог бы такое написать.

Или это: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян», это уже, конечно, Радищев, человек глубоко религиозный, несмотря на все свое свободомыслие, но вполне мог бы быть и Ерофеев.

А разве не одна и та же по сути мысль сквозит у обоих русских писателей: «Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей!» Диалектическая спираль вознесла этот тезисна новую высоту, и в стране, где всегда есть место подвигам, каждый член общества известен правительству, потому что каждый злодей, и поэтому — злодей — каждый. И мерзавец Веничка, в пагубном легкомыслии убегающий в петушинские прелести, ибо «непрямо взирает на окружающие его предметы», а уж этого-то делать никак нельзя. Он,

мятежный, ищет уголок, в котором не всегда есть место подвигам.

То, что «Москва-Петушки» — не просто путевые заметки, неоднократно отмечалось критиками: «Однако произведение — не просто образное описание путешествия. Эта книга носит совсем иной характер, и путешествие приобретает здесь символический смысл… (оно) было формой обобщения, типизации многочисленных поездок автора по России, а также и его косвенного опыта в этой области, обобщением всего того, что он слышал и узнал… относительно своей страны…»[5]

* * *

Как изменился мир со времен евангелистов? Где взять их наивную и мудрую простоту выражения? Будет день — будет и пища.

Несть числа уверткам и вывертам инженеров человеческих душ. Да что толку: все уже сказано, и по-всякому. А Ерофеев пришел в мир с новым миром, как же рассказать о нем? Ведь новому миру нужен новый язык. Где взять?

И взял Веничка все книги, что были до него.

---

[5] Примечания: 5

Орлов О. В., Федоров В. И. Русская литература. М., 1972, стр. 248.

И из каждой взял понемногу, и взял лучшее из лучших и худшее из худших. Никого не обидел Веничка от Антонина Дворжака до Николая Островского. Все собрал он воедино и рассказал в назидание народам древности повесть о людских страстях и томлении духа. И вышло, что все великие инженеры поют под его, Венину, дудку, а если где и соврал Веня, то неизвестно, у кого лучше получилось.

Как будто прост и незатейлив рассказ Ерофеева, а сколько серебра по хрусталю звучит в его изысканной фразе. Только пропущенной главы «Серп и Молот — Карачарово» недостает, чтобы воистину оценить неожиданность эпитета и удивительный ритм инверсий, патетику высокого слога и синтаксис потока сознания, хитрый умысел речевых характеристик и лирику молитв. Монтаж цитат, коллаж реминисценций.

Кто друзой, как не Ерофеев, мог так воспеть красу несравненной из Петушков, у которой коса от затылка до помы? Только тот, мудрец народов древности, который писал:

Ой-ой,

Не зад у ней, а праздничное шествие![6]

Композиция, архитектоника — эти готические, остроугольные слова-скелеты — так не лепятся к Веничкиному апокрифу. Но стоит вглядеться в блаженную поступь кайфа, как привычный взгляд различит в псевдохаосе слов и поступков тщательную пропорцию и гармонию. От первого робкого глотка до мучительного отсутствия последнего. От утренней закрытости магазинов до вечерней. От похмельного возрождения до трезвой смерти. Гладко экспозиция переходит в завязку, та — в кульминацию, а оттуда — к трагическому эндшпилю с неминуемым катарсисом. О, как точна и искусна клиническая картина пьянства в ее классицисте ком триедином варианте! Как знает автор свою тему и как подчиняется она ему! И как взлеты алкоголического духа услужливо ластятся к восторгам желудка. Да, дух, могучая Веничкина идея, до унизительного связана с каждым глотком пахучей амброзии.

---

[6] Примечания: 6

Аристофан. Мир, стр. 470. В кн.: Античная драма, БВЛ, М., 1970.



Рис. I

Всмотритесь в этот тупой угол и возблагодарите Бога за тупость этого угла. Ибо в его вершине — блаженство, а в лучах его — восхождение и пропасть. Как в извилистой черте, изображенной палкой достопочтенного папы Тристрама Шенди, скрывалась разгадка жизни, так и в этом угле кроются концы и начала книги и жизни Венедикта Ерофеева. Вот с первой дозой теплой «Кубанской» начинается восхождение по пологому левому лучу. И с каждой дозой растет Веничкино преклонение перед мудростью и бесконечностью Всевышнего, и все ближе и достижимей кажется светлый образ мира с хересом и сикой. Но слишком узко соединение двух лучей, и не дано смертному удержаться на вершине. Ибо сказано в мире прекрасного, «если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще? Будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих… он

уже пьян, как свинья, оттого и тих».

Да, тесна вершина, но нет мира прекрасней, чем тот мимолетный, что расположен в ее альпийской высоте. Быть может, в краткости пьяного просветления и заключена расплата за первородный грех неверия и сомнения. А может, не в силах человеческих выдержать вечное блаженство просветленного разума? Как не вспомнить здесь Наполеона, который за пятиминутное семяизвержение обещал империю. Но не даны пять минут узурпатору, и не дана Веничке бесконечность прямой вместо бесконечности точки. И ночь сменяет день, и ад — рай, и демонами стали ангелы.

Знает Веня суровую правду жизни, но он — певец и пророк пьяного мира — призван благовестить о высшем откровении в жизни духа, о святых дарах и экстазах. Веня-буревестник тормошит и будоражит трезвое паскудство течения дней, и конец Венички — конец мифа и легенды, смертный час нарядного, как переводная картинка, мира: тишина. Летите, в звезды врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной — ТРЕЗВОСТЬ.

* * *

И видит Вера Павловна Ерофеев сон: «золотистым отливом сияет нива, аромат несется,

окрестные луга озарились огнем — в лугах варят пунш, везде алюминий и алюминий, все счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения».[7] Просыпается В. П. Ерофеев и пишет «Из рассказов о новых людях», а что делать — он знает и сам: не поддаваться на иезуитские выверты Петра Великого и Дмитрия Кибальчича, а искать свое, исконное. Да и может разве машина постичь высший смысл пьяной икоты? Нет, В. П. Ерофеев задачу воспитания нового человека ставит прежде задачи создания материально-технической базы. Дело это непростое. Помнится, один серьезный человек предлагал, например, такое: «По части умственной работы… переводы, и притом обратные, т. е. сначала с иностранного на русский письменно, а потом с русского перевода опять на иностранный… А по части физической… гимнастику ежедневную и обтирания».[8]

Веничке, правда, и эти советы не нужны. В его светлом мире бледно-голубая похмельная глазница наливается красным портвейном в

[7] Примечания: 7

Н. Г. Чернышевский. Собр. соч. в 5 тт. М., 1974, т. 1, стр. 364–365, 375, 383.

[8] Примечания: 8

В. И. Ленин. Письма к родным, 1884–1919. М., 1934, стр. 267–268.

прожилках, и человек преображается, одухотворяется, и «можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет», потому что занят высоким и нужным.

В гармоничном мире гармонией исполнены и его категории. Рыжеволосая дьяволица чище Беатриче сбегает на петушинский перрон. И нет в ней изъянов — лишь сокровенные изгибы, и никто не бросит в нее камень, «ибо она совершенна, а совершенству нет предела», как нет и суда.

Ворочается младенец в кроватке, возле которой пьет лимонную Веня — Творец и Созидатель, Лобачевский и Эйнштейн. Младенец, умеющий произносить букву «Ю», — провозвестник божественного полива. И через эту лимонную «Ю» светят Вене преемственность и надежда. Он, младенец, единственная непреходящая часть мира, в пространстве существующего на пути от Москвы до Петушков, а во времени — от открытия и до закрытия магазинов и во веки веков. И только для младенца не находится у Вени полива, потому что некуда прорываться, потому что не нужен экстаз и глоссолалии, потому что это уже — гавань, прибежище, ковчег.

Потому и не доезжает Веня до Петушков, бесов-

ским кружением возвращается в Москву.

* * *

Бога можно славить по-разному. Нет на Земле племени, славящего Его одинаково с другими, как нет кощунства, не звучащего молитвой в чужих устах. Как мало, в сущности, надо, чтоб оказаться по эту сторону добра, а не по ту сторону справедливости! Как просто отделить зерно от плевел! Как обольстительно легко найти ответ на вопрос «а есть ли?..»

Икота. В ее неисповедимом ритме «— тринадцать-пятнадцать-четырнадцать-двенадцать-пять-двадцать восемь» не кроется ли знамение почище неопалимой купины. Да, кроется. Ибо «она (икота), го есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и перед которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно. Он есть… Да. Больше пейте, меньше закусывайте».

Неужели наш жребий — уподобиться кретинам-проходимцам? Неужели увидим в откровении кощунство и в исповеди пародию?

Веничка пришел в мир, чтобы промыть его заплесневевшие глаза «Слезой комсомолки». Чтобы одухотворить бездуховность бытия измышлен-

ным пьяным миром.

Давно уже в России существует этот мир. А создали его водка и книги. Иногда чуть больше водки, иногда чуть больше книг. Но люди живут в несуществующем так же запросто, как в коммунальной квартире: привыкли, устроились, да и что делать в существующем? Работать, плавать и воевать? Не зря давно уже зреет мысль: реальность искусства реальней реальности жизни. А от вымышленного мира искусства до измышленного пьяного мира расстояние куда короче, чем от великого до смешного.

Веничка — пророк мира вечно открытых магазинов — опирается на деятелей Sturm und Drang и Могучей Кучки, как Христос на Иоанна Крестителя. Бунин пил, «а Куприн и Максим Горький — так те вообще не просыпались». И Шиллер, и Гоголь, и Пушкин, и Герцен.

В новом Веничкином мире все писатели пьют, и все, кто пьют — писатели. А иначе откуда у дедушки Митрича талант и жалость так рассказать о любви, как он рассказал про председателя Лоэнгрина: «..Придет к себе в правление, ляжет на пол… тут уже к нему не подступись — молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет… стоит и плачет…

и пысает на пол, как маленький…»

* * *

Фантастический (реальный) мир «Петушков» имеет свою историю и знает своих героев. Вот из кустов жасмина выходит блестящий теоретик Вадим Тихонов, чьи тезисы прибиты к сердцу каждого. Мелькает отблеск, прообраз того царства алюминиевой гармонии, где несть ни эллина, ни иудея, а есть единство вымени и хереса — воплощенная мечта гурмана и гуманиста. Тогда, выступив «двумя колоннами, с штандартами в руках… колонна на Елисейково, другая — на Тартино», президент Ерофеев и канцлер Тихонов со товарищи несли могучие идеи переустройства Вселенной. Их помыслы были чисты, намерения — благородны: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра, объявить войну Норвегии, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать, отдать Юзефу Циранкевичу польский коридор, «а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую».

И только убедившись в том, что человечество не желает земного рая, Веня умыл руки, допил остаток «Российской» и пошел вон от своей во-

енно-политической славы, плюнув на низкое солнце Аустерлица, от своего Тулона в рай Петушков, где ею поймут и примут.

* * *

Трепетное сродство душ, сочувствие явилось впервые где-то между Есино и Фрязево. Презрев низость житейских проблем, лишь о высоком и прекрасном говорили и декабрист, и Митричи, и женщина сложной судьбы. И не было в их беседе ничего мелкого и несущественного. Как жалкий мастерок преображается в руках титулованных масонов, так сияют рубиновым светом чирьи председателя Лоэнгрина, возвещая о высокой трагедии неразделенной любви. Любовь, Искусство, Судьбы Народа — лишь эти предметы достойны человека, несомого двумя бутылками «Кубанской» в петушинские кущи. В этом разговоре — до звона напряженном, интеллектуальном и эмоциональном заоблачно — Николай Гоголь пьет водку из розового бокала, Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, тридцать самых плохих баб лучше одной самой хорошей, и мучительно волнует проклятый вопрос: «Где больше ценят русского человека, по ту или эту сторону Пиренеев?»

Служенье муз не терпит суеты.

* * *

Начинает Веничка кошмаром, сходя со ступеньки в подъезде, по счету снизу сороковой — в город, который утро уже красит нежным светом, город, готовый закипеть и возмогучеть. Выходит Веня, прижимая к сердцу чемоданчик, и видит вдруг пидора, скребущего тротуар, и черным коршуном спускается ужас: рано. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого» (Матф. 27:45). Да, «о, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов!»

Как и всякому человеку, Вене надо к Кремлю. Ему с первой же строки надо к Кремлю — в болезненно-извращенном мазохизме, туда, где закаляется сталь, где кавалеры Золотой Звезды замужем за стряпухами, где круче всего закругляется земля, где бьется пульс планеты. И до последней страницы, когда «с последней ступеньки бросились душить, сразу пятью или шестью руками» — до последней страницы горят во мраке рубиновые звезды и выезжает маршал на коне, маршал, знаменитый по всей стране. Но бережет между первой и последней страницами Веню

Нечто, раз за разом выводя к Курскому вокзалу и увозя к Петушкам. Мелькают любезные сердцу Серп и Молот, Карачарово, Назарьево, но сил нам нет кружиться боле, колокольчик вдруг умолк.

«— Ты от нас? От нас хотел убежать? — прошипел один». И в его вопросе меньше гнева, чем истерического любопытства. «…И схватил меня за волосы, и сколько было силы хватил меня головой о кремлевскую стену». О стену древнего Кремля, к которому пришел наконец Веня.

И может быть, напрасно бежал он от ада Кремля в рай Петушков, напрасно рвался к совершенству: к рыжеволосой дьяволице с косой до попы, к младенцу, умеющему произносить букву «Ю», к ресторанам, где к вымени безропотно и торопливо несут херес. Круг замкнулся, и ангелы насмеялись над Веней. Да и ангелы ли это? Может, мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце? Ну вот ведь сказано же: визгом и воем, а он — смех!

Нет никакого ада, нет никакого рая, есть только то, что есть, и нет ничего страшнее этого, и нет спасения.

В самом начале дня-жизни-книги было сказано слабому и растерянному: «Талифа куми», и он

встал и пошел, сперва шатаясь от холода и горя, потом стервенея и веселясь, и розовое крепкое за рупь тридцать семь стало его кровью, и ласковая громада Курского вокзала выпустила его в Елисейские поля. А в конце дня-жизни-книги, когда он, скрючившись на верхней лестничной площадке, слушал жуткий скрип дверей, они собрались все: Луи Арагон под руку с Эльзой Триоле, ревизор Семеныч в исподнем, Митричи в соплях, декабрист в коверкотовом пальто, палачи из привокзального ресторана, соратники по революционному перевороту… С той, с этой стороны, из ада и из рая. А ТЕ поднимались, держа в руках обувь, и никто не мешал им, только ангелы, повизгивая, хохотали. И в дикой мешанине дня-жизни-книги уже он воззвал: «Или, или, лама савахфани!» Но — «они вонзили свое шило в самое горло… Я не знал, что есть на свете такая боль, и скрючился от муки, густая красная буква „Ю“ распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не пришел в сознание и никогда не приду».

Потому что нет никакого ада, нет никакого рая, есть только то, что есть, и нет ничего страшнее этого, и нет спасения.

